

МФ



МИР ФАНТАСТИКИ

**САША
СКОРОБОГАТОВ**
НЕБО НА ВЕРЕВОЧКЕ
РАССКАЗЫ

3

Гродненское областное добровольное общество „Книга”

Хозрасчетное молодежное объединение „Парус”

При Гродненском обкоме ЛКСМБ

Клуб любителей фантастики „Сталкер”

г. Гродно

МИР ФАНТАСТИКИ

Составитель выпусков

А. В. ВЕЛЬКО

Оформление

А. В. ВЕЛЬКО

А. СКОРОБОГАТОВ. Небо на веревочке: Рассказы. – Гродно, 1990. – 16. с.
Молодой писатель Саша Скоробогатов (1963 г. рождения) родился и вырос в г. Гродно. В настоящее время – студент Литературного института им. А. М. Горького. Публиковался в журналах „Родник”, „Юность”.

В настоящий сборник включены его мистические рассказы.

НЕБО НА ВЕРЕВОЧКЕ

Эту квартиру учреждение выделило ей года за два перед уходом на пенсию. Она сидела одна после работы и пила чай с вишневым вареньем, время от времени названивая подругам, которые чаще всего, услышав ее голос, клали трубки, потому что она была занудлива и глупа, эта стареющая, рыхлая женщина с некрасивым еврейским лицом. Но иногда ей все же удавалось поговорить с кем-нибудь: среди ее подруг были и такие, которые иногда жалели ее. Все время после шести часов – когда она возвращалась с работы, и до одиннадцати, когда обязательно вот уже несколько лет она ложилась спать, женщина пила чай с кислым вареньем, названивала подругам или очень редко, экономя электроэнергию, смотрела телевизор – новости или „Время“, чтобы всегда быть в курсе.

Она не расстроилась, когда ей пришлось выйти на пенсию, так ей по крайней мере казалось, и так она говорила своим подругам по телефону, если те не бросали свои трубки, чуть только слышав ее голос. Нет, она ничуть не расстраивается, она сделала все, что могла, весь свой долг она отдала Отечеству и своей дочери, которая сейчас замужем и, к счастью, не собирается, кажется, возвращаться домой и усложнять ее жизнь своей суетней и постоянными раздорами с мужем, а еще и нестерпимым, мучительным, гадким этим детским писком, черт бы его, в самом деле... У них ведь двое детей, это не шутка, ведь она говорила – аборт, аборт – единственный выход и спасение, аборт – если надо, можно и потерпеть, но терпеть своевольной дочери не захотелось и вот вам пожалуйста результат – печальная действительность, никуда не деться от двух этих гадких – ну, может и не гадких, а просто – обычных детей, ни тебе на курорт, ни тебе никуда, хотя бы в театр либо в ресторан... Так-то.

А потом она стала заходить в свое учреждение, и поначалу контролеры пропускали ее через вертящуюся металлическую конструкцию, когда она значительно говорила – мне по делу, к главному. Она бродила по коридорам, мешала и надоедала всем какими-то дурацкими и бесконечными своими разговорами, рассуждениями о политике, о детях, о программе „Время“, о телефонной связи, которая последнее время совсем расстроилась и все барахлит и барахлит, а на этих алкоголиков-мастеров просто

страшно смотреть, того и гляди вынесут что-нибудь из комнаты, ведь за долгую свою жизнь она сумела кое-что поднакопить, вот взять хотя бы цветной телевизор. Вот и приходится стоять все время в комнате, следить за ними, как бы чего не вынесли.

Она всем надоела. И пришел день, когда впервые ее не пропустили через проходную. Старикашка с неприятными усами отвернул голову и сказал – больше нельзя, не велели, – что-то в этом роде сказал этот глупый старик, которого уже самого давным давно пора бы отправить на пенсию, а не ее, с ее колоссальным опытом и знаниями. Так она и сказала ему, и добавила еще: меня, ветерана партии и труда, человека опытного и знающего – что, в пропасть, что, значит больше не нужна? Это я-то не нужна, мол, не требуюсь больше родной стране и людям? Но старикашка не слушал ее, а только достал откуда-то из ящика бутерброд с докторской колбасой и аккуратно, чтобы не сыпались крошки, стал его есть, жуя иногда быстро, иногда медленно, глядя прямо перед собой, прислушиваясь к шумудвигающихся челюстей.

Ах так, сказала она, и не говорить даже? Просто выбросили человека на улицу, и всех делов?

Этим вечером она не смотрела телевизор, потому что у ведущего программы „Время” повалил вдруг изо рта густой черный дым, и в комнате ее запахло гарью. Она щелкнула кнопкой и упала на диван, не в силах пошевелиться от ужаса, сковавшего ее, а перед нею все стоял этот молодой мужчина с горящими глазами, полными ярости, и дым валил изо рта, наполняя комнату. Боже, говорила она, почему так, почему так, почему все мне, и вот телевизор, и вот работа, и дочка там с этими двумя, никто ничего не может сделать...

Через несколько дней она появилась утром перед проходной и достала из сумочки белый лист, на котором черными чернилами было написано что-то, много и неразборчиво: „позор”... „Москва—Вюнсдорф”... „дайте мне поговорить с главным”... „почините наконец-то телефон, который все время не работает”... Она ходила по улице и показывала прохожим свой плакат, и те переглядывались, пожимали плечами, улыбались, отворачиваясь от нее, крутили пальцем у виска. А бывшие ее сотрудники смотрели из окон и хохотали, тыкали пальцем вниз, на улицу, и говорили – вот дурища-то, вот это да! А кто-то сел к телефону и набирал – ноль... два, нет, не то, ноль... – три, нет – ноль–два. Позор, кричала женщина на улице, и ветер развеивал ее жиденькие волосы, бросал их в стороны, они лезли в глаза, попадали в рот, и это так мешало, так мешало... И поэтому она ушла, исчезла как раз перед тем, как приехала к проходной желтая с синими полосами машина, на которой было написано – милиция.

Вечером она уже не включала больше телевизор, не звонила подружкам; она приготовила себе давно желанный творожный

пудинг и запивала его чаем с кислым вареньем цвета густой крови, плакала, глядя в чашку, и туда же капали ее частые, злые, маленькие слезы. В чашку. Кап-кап-кап-кап-кап...

Потом она пошла в душ и тщательно вымыла свое старое, бледное тело немецким дорогим мылом, – она использовала его первый раз в жизни и, как думала, в последний. Да, говорила она себе, именно в последний, вот позволяю себе такую роскошь, пусть, могу я себе это позволить! Потом долго и тоже тщательно вытиралась махровым, купленным еще когда! – китайским полотенцем с поблекшими, стершимися цветочками, – розами, что ли? – потом оделась и без промедления вышла на балкон.

Нет, говорила она тем, кто ее не слушал, я не боюсь – и сердце ее радостно и легко стучало в груди, бодрое, молодое, – не боюсь простудиться, потому что мне все равно, так то, смейтесь, если вам хочется, мне-то уж все равно, мне нет до вашего смеха ни малейшего отношения, мне хотелось плевать на ваш смех, так-то уж, так-то уж, говорила она уже вслух, с трудом забираясь на ящики, стоявшие на балконе. Вот так, вот этот самый верхний, на него можно спокойно стать, он даже не качается под ногами, и сердце так ровно, так радостно – тук-тук, тук-тук, тук-тук... и на душе такое счастье разлито, и неприятный инцидент на проходной уже почти забыт, и скоро будет забыт совсем. Навсегда.

Она посмотрела вверх, она это сделала случайно, ей нужно было посмотреть вниз, на землю, на асфальт, на кустарник, растущий где-то там в темноте под окнами первого этажа, а она посмотрела наверх и увидела звезды, зябко дрожащие в черном небе. Так случилось, что у нее закружилась голова, потому что она перепутала на мгновение, где верх а где низ, ящик зашатался, когда она все уже поняла отчетливо и внезапно, охлажденная звездным светом, пришла в себя; нога скользнула с балкона, и она начала падать – то ли вверх, то ли вниз, земля приближалась сверху и была черной, а небо уменьшалось и скоро, почти сразу стало совсем маленьким и не похожим на обычное ночное небо, где есть звезды и луна, звезды дрожат, а луна себе светит, – оно стало маленьким, круглым и плотным, и болталось под ногами, как будто кто-то держал его на веревочке.

ТАК, КАК НРАВИЛОСЬ ЕЙ

Я сделал все, как нравилось ей: сочившиеся кровью ломтики жареного мяса, черный хлеб на блюде, покрытый салфеткой с розовой каймой, красное вино в бокале. На этот раз мясо удалось, и я подумал, что, проснувшись, она будет довольна мною. Рядом с тарелкой я положил вилку, – если ей захочется есть вилкой. Еще раз оглядев стол, я прошел в ванную.

Я посмотрел в зеркало. Вчера она снова долго не давала мне уснуть, и мешки под глазами стали еще больше, но никаких подозрений ни у кого не будет, – все привыкли видеть меня таким и считают просто-напросто зубрилой, а я им не перечу, мне так спокойней. Но хуже было со следами ее пальцев, пятью темно-синими пятнами на горле, но и это, в общем, тоже ерунда. Я испугался только вначале, когда понял, что под воротником их не спрячешь, и, как ни затягивай галстук, воротник опустится, и обязательно найдется дурак, который спросит: кто решил посягнуть на мою драгоценную жизнь, или еще что-нибудь в этом роде, а я могу растеряться и не выдумать ничего толкового, чтобы прекратить вопросы и насмешки этих кретинов. Я снял галстук, сбегал в комнату и разыскал в шкафу черный шарф – ее шарф, который она носила, когда еще могла – из какого-то легкого и почти прозрачного материала, и, вернувшись к зеркалу, повязал его на шею: синяков не было видно. Я повертел головой, но шарф не сползал, – значит, все будет в порядке, – подмигнул зеркалу и вышел в коридор. Я не заходил в спальню прощаться с нею, – утомившись этой ночью, она спала, я чувствовал это; надел туфли, взял сумку и, еще раз заглянув в зеркало, вышел, стараясь не особенно стучать дверью.

Сейчас, пока она спит, я мог чувствовать себя свободным, мог думать, о чем угодно и даже сделать что-нибудь такое, о чем в другое время нельзя даже и помечтать, но я привык к такому своему положению – ведь это тянется уже давно – и почти никогда не делаю ничего, что не понравилось бы ей. За это время я научился думать только о том, что вижу перед собой, вот и сейчас я шел к остановке и смотрел на деревья, стоящие вдоль дорожки, и думал, что скоро на них появятся листья, и они станут зелеными, и так будет все лето, а потом они пожухнут и опадут, и ветер будет гонять их по земле; смотрел себе под ноги и думал о том, что надо ступать осторожно, чтобы не влезть случайно в лужу и не вымазать

туфли; смотрел на туфли и вспоминал, как тщательно мазал их вчера кремом и натирал потом шерстяной тряпочкой. И все-таки, хоть я и не думал ни о чем таком, что могло бы не понравиться ей, мне было лучше, чем всегда, ведь я был свободен и знал, что в любой момент могу сделать, что захочу, а у нее не получится отомстить мне, ведь она спит. Мне было весело, и я даже перепрыгнул через лужицу, которую можно было и обойти.

Народу на остановке немного: две старухи сидели на скамейке, из корзин, стоящих рядом с ними, доносился писк; трое мужчин курили и о чем-то тихо разговаривали; девушка читала расклеенные на столбе объявления.

Из-за поворота показался автобус. Подхватив корзины, которые запищали от этого громче, старухи снялись со скамейки и двинулись к краю тротуара; мужчины торопливо делали последние затяжки; девушка отошла от столба и остановилась рядом со мною, глядя на приближающийся автобус.

То, что я мог безбоязненно смотреть на нее, было необычно и нравилось мне. Я знал, пока она не проснется, мне ничего не угрожает. Вот бы сказать что-нибудь девушке, хотя бы просто спросить, который час, чтобы услышать ее голос, но делать это надо быстрее, а я все не мог решиться, ведь я никогда не позволял себе ничего подобного.

Автобус подошел, и двери с шипением открылись. Девушка вошла первой, я – вслед за ней; старухи возились со своими питащими корзинами у средней двери. Наконец, автобус тронулся. Девушка сидела спиной ко мне, повернувшись к окну.

Можно подсесть к ней. А потом спросить, который час. Она ответит. Если часов у нее нет, скажет, что не знает. И снова отвернется к окну. Тогда можно придумать что-нибудь смешное про этих старух с корзинами, скорее всего, это ей понравится, потому что она улыбалась, глядя как те, кряхтя и ругаясь, втаскивали свои корзины в автобус. А потом... а потом все пойдет как-нибудь само собой. Только вначале нужно сесть рядом с ней.

Она посмотрела на меня и отвернулась. Равнодушный взгляд. Ну а каким он должен быть, если она видит меня впервое?

Писк начинал раздражать и отвлекать меня. Он становился громким и просто нестерпимым. Я открыл рот, но снова не решил говорить. В окне мелькали разноцветные одноэтажные домики с голыми садами, огороженные заляпанными грязью заборами. Что бы придумать? Надо что-нибудь по-настоящему смешное, чтобы она засмеялась или хотя бы улыбнулась, чтобы ей понравилось, показалось смешным, и тогда она ответит мне. Скажу через десять домов, между десятым и одиннадцатым, спрошу, который час, а потом что-нибудь смешное о старухах. Только бы стих невыносимый этот писк из корзин, скажу, и черт с ним, с моим страхом. Что тут такого, если я спрошу, который час? – ведь это совершенно

Скажу, когда будем проезжать первый дом красного цвета.

Автобус ехал быстро, и этот дом промелькнул в окне огромным красным пятном, и я успел заметить мальчишку, стоявшего у забора; он махнул рукой. Камень вошел в стекло как раз напротив ее лица; коснувшись стекла, он прекратил вращаться и на мгновение исчез за появившимся на стекле матовым пятном. Потом я снова увидел его, и тут же облачко осколков, легких, как снежинки, упало на лицо девушки. Автобус резко стал, так, что я ударился о спинку переднего сиденья. Хлопнула дверца кабины: водитель бежал за мальчишкой.

Глаз девушки не было видно, глазницы, как и все лицо, стали белыми.

Я не мог отвести взгляда от ее лица, начавшего покрываться розовой паутинкой сочившейся между осколков крови. Я заставил себя закрыть глаза, но тут же открыл их – живая красная паутина, она росла, нити ее утолщались и срастались между собой. Красное покрыло последние островки белого, и на подбородке наливалась первая капля крови. Рука приблизилась к лицу и, коснувшись его, тут же отдернулась – ладонь была красной. Я видел, как открывался ее рот, но крика не услышал, – я бежал к двери, которая была закрыта. Я бил в нее коленями и руками, толкал плечом, потом побежал к другой. Старухи с жадными глазами шли к девушке.

Через кабину я выбрался из автобуса. Мимо меня прошел водитель, тащивший за ухо мальчишку.

Она проснулась, а я не почувствовал этого вовремя.

Я знал, что это не получится у меня, – она не даст мне сделать этого с собой, – но я заперся в ванной и снимал с шеи ее шарф. Я не боялся умереть, потому что знал наверняка, что она не позволит мне умереть, и только злился, представляя, как наслаждается сейчас она моим бессилием, и спешил завязать узел на трубе под потолком. Она была влажной, как и все здесь; влажный воздух оседал на трубах и капельки воды – одна за другой – стекали вниз. Было противно касаться этих мокрых труб, покрытых черной плесенью, и я не стал делать второй узел. Я сдернул шарф с трубы и, взяв с зеркальной полки маленькие кривые ножницы, разрезал его не куски, спустил в унитаз.

Она звала меня, я чувствовал это. Сполоснув руки в теплой воде, я вышел из ванной. Она была в спальне. Пройдя коридор, я вошел в комнату и приблизился к ее ящику. Крышка его откинулась, и в ту же секунду я закрыл глаза, успев увидеть руку, тянущуюся ко мне.

Она разрешала мне закрывать глаза.

КУКЛА

Впервые это случилось в пятницу, четыре недели тому назад, и с тех пор повторялось еще дважды, в неделю раз. Это очень важно, что всего таких случаев было три и перерывы между ними всегда были недельные. Значит, все это не случайность, и в основе этих происшествий /происшествие – это не то слово, скорее, катастрофа/ есть какая-то закономерность, какая именно, я еще не знаю и поэтому говорю так – какая-то закономерность.

В пятницу вечером в нашем подъезде исчезла девочка. Я говорю в нашем подъезде, потому что на улицу она не выходила, это точно. Примерно в шесть часов родители забрали ее из детского сада, дома она поела и попросилась на улицу. В начале восьмого, взяв с собою резиновый мяч, она вышла из дому. Как обычно, сразу после этого ее мать пошла на балкон, чтобы спросить, не холодно ли ей и вообще, это был своего рода ритуал: она всегда выходила на балкон или выглядывала в окно, когда девочка шла на улицу. Так простояла она несколько минут, и девочки не было. В другой раз женщину, может, и насторожило бы это, но сегодня она была слишком занята, и решила, что дочь зашла к подружке, что было очень естественно. Но время шло, на улице темнело, а девочка все не возвращалась домой. Примерно через полтора часа к ним зашла подруга ее дочери; именно к ней, как думала женщина, и зашла ее дочь. Оказалось, что та не видела ее сегодня вообще. Подруга принесла мяч, красный резиновый мяч, с которым девочка вышла из дому; она нашла его в лифте. Только сейчас женщина поняла: с ее дочерью что-то случилось. Напрасно пытался успокоить ее муж, она плакала и кляла себя за то, что не вышла за дочерью сразу, когда еще можно было что-то поправить. Но что поправлять, говорил ей муж, не надо паниковать. Ведь бывало такое и раньше, когда девочка заходила к своим знакомым в подъезде и поэтому долго не показывалась на улице, и тогда, вспомни, ты тоже волновалась. И сейчас, это несомненно, она сидит преспокойно у кого-нибудь в гостях, не замечая, сколько прошло времени, забыв о том, что ей давно уже нужно быть дома. Его слова не успокоили женщину, зато подсказали, что нужно делать. Она обежала всех соседей, верхних и нижних: как она и чувствовала, девочки не было нигде. Потом – стало уже совсем темно и на улице разгорались первые неоновые фонари –

вместе с мужем она вышла на улицу. Они были везде, куда могла зайти их дочь. Потом, когда стало ясно, что девочка пропала, и даже отец уже не мог скрыть свой испуг, они вызвали милицию.

Когда я узнал обо всем, то сразу почему-то подумал, что девочка вряд ли успела выйти на улицу: это должно было случиться здесь, в нашем подъезде, – ведь в руках ее была любимая игрушка – красный резиновый мяч – который она не оставила бы в лифте, выходя во двор. Так я и сказал милиционеру, пришедшему ко мне назавтра. Мое предположение было страшным, если не сказать чудовищным, но, как понимаю я теперь, спустя три недели, оно было почти верным: кто-то похитил девочку из лифта. Похоже, что и сам милиционер думал примерно так же, хотя внешне на мое предположение он не ответил никак. Он спросил только, кого я могу подозревать в совершении этого преступления. Я ответил, что никого.

Задав еще несколько вопросов, он вышел.

В нашем подъезде шестнадцать этажей и два лифта. Есть черная лестница, но ею пользуются редко. Оба лифта вызываются одной кнопкой, причем устройство лифта таково, что, опускаясь, он обязательно останавливается, если ниже нажата кнопка. Так что, когда девочка ехала вниз, кто-то мог нажать эту кнопку, остановить лифт, и... Но то, что должно было произойти дальше, просто не укладывалось в голове, это было чудовищно и совершенно абсурдно. Кому и зачем понадобилось похищать эту девочку?! – вот чего я не мог понять. В нашем подъезде живет около двух сотен человек. Поименно я знаю очень немногих, об их профессии могу лишь догадываться, некоторых знаю только в лицо. Но все это приличные люди, и представить, чтобы кто-нибудь из них совершил такое преступление?.. Но, как говорится, факт остается фактом: девочка исчезла в нашем подъезде, и скорее всего, была похищена из лифта где-то между первым и одиннадцатым этажом. Моим этажом.

В следующий четверг меня вызвали в милицию. Следователь был невысокий улыбчивый человек. Вопрос у него был один: чем занимался я в прошлую пятницу вечером, а точнее, после семи часов. Я понимал, что такова процедура следствия, и этот вопрос наверняка был задан не мне одному, а почти всем моим соседям, но это понимание ничуть не успокаивало меня. Что делал? Весь вечер я был дома, совсем один. Слушал музыку. Я даже могу вспомнить, что именно слушал. Это не обязательно. Как и обычно, я вернулся с занятий около четырех часов, и с этого времени никуда не выходил. Хотя, нет, в тот день, по-моему, после занятий я засиделся в читальном зале, что-то читал; если необходимо, я могу вспомнить... Это тоже не обязательно. А скажите, кто-нибудь может...

– Подтвердить, что весь вечер я не отлучался из дому?..

– Вы правильно меня поняли.

К сожалению, никто. Следователь кивнул и написал что-то на листке бумаги, лежащим перед ним. Вы понимаете, я живу вдво-

ем с матерью, она педагог, работает в университете. Мы живем достаточно уединенно, и к нам почти никто не заходит. Так, изредко, мои друзья. А сейчас мама уехала, она на стажировке, это называется у них курсы повышения квалификации. И в тот день, в пятницу, ее уже не было. Если честно, – я помню этот вечер плохо. У меня очень болела голова. Может быть, я и выходил куда-нибудь...

– Вот видите...

Нет, если я и выходил, то совсем не надолго, на несколько минут буквально, например, в магазин.

– А когда именно выходили, точнее вспомнить не можете?

– В том-то и дело, что я даже не помню, выходил ли я. Я говорю только – может быть. Может быть, и выходил.

– Ясно.

Наш разговор прервался: следовательно вставил в пишущую машинку лист и принялся печатать. Через несколько минут он протянул мне отпечатанный протокол.

– Ознакомьтесь и подпишите.

Я расписался, не читая.

Весь вечер болела голова: у меня всегда так от волнения. Я говорил себе, что этот вызов на самом деле не больше, чем самая обыкновенная формальность, что многим, если не всем в нашем подъезде задавали этот вопрос, но вместе с этим я понимал, что другие все-таки были в ином положении: у них было то, что называется алиби. Ну кто мог подтвердить, что весь вечер я действительно просидел дома и если выходил, то только за сигаретами, а совсем не для того, чтобы похитить эту несчастную девочку? Они скорее всего и не подозревают меня совсем, неужели кому-то в голову может прийти, что это сделал я?

Весь вечер я глотал таблетки от головной боли, выпил даже немного вина, но волнение и страх не проходили.

На следующий день, в пятницу, история повторилась, повторилась почти буквально, с той только разницей, что на этот раз исчезла женщина. Она вышла в магазин; ее муж потом вспомнил, что в тот момент, когда за ней захлопнулась дверь, по радио объявили семь часов. После первого случая лифтов у нас стали остерегаться, потому что мое предположение, будто девочку похитили прямо из лифта, пришло в голову почти всем в подъезде. По крайней мере, рисковать не хотелось никому. Но сейчас эта женщина спешила, боясь опоздать в магазин; по лестнице спускаться было гораздо дольше, поэтому она и решила забыть свои опасения. То, что и ее похитили в лифте было совершенно точно, потому что там была найдена ее сумка с молочными бутылками, которые она собиралась сдавать в магазин.

Весь этот день я пролежал в постели. Я не пошел даже в институт: у меня снова болела голова. Иногда я вставал ненадолго, чтобы смочить холодной водой полотенце, которым я обвязывал голову, но повязка почти не помогала. К вечеру – часов в семь, – когда уже начинало темнеть, – я, наконец, уснул, и проспал долго,

до шести утра. Проснувшись, я чувствовал себя уже хорошо, голова прошла: повалявшись еще немного, я включил музыку и пошел в кухню готовить завтрак. О втором исчезновении я узнал только назавтра, когда встретил утром у подъезда своего соседа, он и рассказал мне обо всем. В институте я все время думал об этом. Оба случая были зеркально похожи друг на друга: и тогда и сейчас это случилось в лифте, и тогда и сейчас это случилось около семи вечера, и тогда и сейчас, наконец, была пятница. Это не могло быть простым совпадением, думал я, это никак не случайность – такое разительное подобие – это закономерность. Иногда мне становилось страшно, потому что уже тогда, после второго случая, я начинал понимать, что имею дело с чем-то выше, могущественнее моего разума; с чем-то, что понять, осознать, разрешить мне будет, возможно, непод силу.

После занятий я сидел дома, пил крепкий чай; за окном быстро темнело, но я не зажигал свет. В какой-то момент в дверь позвонили, – я вздрогнул и сердце забилось быстрее. Я сидел, не шевелясь, но звонок повторился, и тогда, стараясь идти как можно тише, я направился к двери. Было уже совсем темно в квартире, и я не боялся, что меня заметят в глазок. На лестнице перед моею дверью стоял следователь – я хорошо запомнил его лицо неделю назад, во время нашей первой встречи. Было заметно, что он спешит: он быстро вскинул руку, посмотрел на часы и снова нажал звонок. Я уже готов был открыть, но в ту же секунду остановил себя – мне не о чем было с ним говорить. Я помнил свою растерянность и бессилие во время нашей первой встречи, когда он задавал обычные, в общем, вопросы, а я не мог твердо и с полной уверенностью отвечать на них; я даже чувствовал себя в чем-то виноватым перед ним, я не мог отделаться от дурацкого ощущения, что лгу ему, хоть и говорил чистую правду. И что я скажу на этот раз, если снова он спросит меня, где и как я провел вчерашний день и вечер? – опять дома, опять с головной болью? А кто это видел, кто может подтвердить, что никуда я не выходил вчера и никого из лифта не похищал? Алиби – отвратительное слово.

Следователь еще постоял перед дверью какое-то время, потом повернулся и позвонил к соседям; дверь открылась почти сразу и он вошел. Я понимал, что так или иначе мне все-таки придется встретиться с ним еще раз, – от этой формальности мне не отвертеться, – но пусть это будет не сейчас, не сегодня, пусть это случится, когда я буду готов к этому неприятному разговору, когда уляжется мое волнение, моя растерянность, мой страх.

Я очень плохо спал всю эту неделю; можно сказать даже, что вообще не спал. Измученный и почти больной, в пятницу после занятий я зашел в аптеку и купил снотворного. Придя домой, выпил две таблетки и, не раздеваясь, лег на диван. Даже с таблетками мне все никак не удавалось уснуть; в конце концов у меня снова заболела голова. Не вставая с дивана, я принял еще две таблетки и вскоре уснул. Проснулся на следующий день от звонка.

Я долго не мог прийти в себя, голова была, как обычно, тяжелая после снотворного, тело слабым и каким-то безвольным, не повиновалось мне, хотелось пить. Позвонили еще раз, и тогда я с трудом поднялся и босиком пошел к двери.

Передо мною стоял следователь. Он достал из кармана красную книжечку и, развернув ее, показал мне.

– Да-да, я вас помню, – сказал я и отошел в коридор, приглашая его войти.

– Здравствуйте, – сказал он.

Я провел его в комнату, где он сразу сел в кресло, а сам, извинившись, пошел на кухню и прямо из чайника выпил воды. Перед следователем на столе лежала черная кожаная папка и чистый лист бумаги на ней. Он записал мое имя и фамилию, номер квартиры, потом спросил:

– Вы не замечали вчера чего-нибудь странного в подъезде? Например, какой-нибудь шум, крики? Или посторонних людей?

Я молча смотрел на него.

– Нет?

– Вчера?

– Да, именно вчера, – повторил он.

– А почему вчера? Что случилось вчера?

– Вы не знаете? Обычно о таких случаях люди узнают почти моментально... Вот все ваши соседи уже знают. Дело в том, что вчера, в пятницу, в вашем подъезде пропал мальчик. Кстати, он жил на три этажа выше вас, ведь вы на одиннадцатом?

Я кивнул головой.

– Так что же? Что-нибудь помните? – шум, крики, посторонних людей?

Я встал с дивана и прошел к окну, потом вернулся и снова сел перед следователем.

– Значит, это уже третий случай?

Он кивнул:

– Значит, да. Третий случай за три недели. Так что вы скажете?

– Я спал вчера весь день, я вообще плохо спал последнюю неделю, все это так страшно действует на нервы, это все просто ужасно, я вот не спал, а вчера купил снотворного и прямо сразу после института уснул. Хотя, не сразу, я еще долго не засыпал...

– Вот видите...

– Но... но я ничего не слышал.

– Ну хорошо, – следователь записал что-то на бумаге. – А вот такой вопрос: у вас по этому поводу есть какие-нибудь соображения?

– То есть – подозреваю ли я кого-нибудь?

– Не совсем так, но и это тоже.

– Нет. Нет. Что вы. Я никого не могу подозревать.

Он сидел еще долго, задавал какие-то незначительные вопросы – например, когда в тот день начало темнеть, в какое время я пришел из института, не встречал ли кого-нибудь в коридоре – из своих, соседей, – не слышал ли, как хлопнула какая-нибудь дверь,

когда поднялся к себе на площадку... – я слушал вопросы, отвечал на них, но все это происходило машинально, как-то помимо моего сознания: я думал об этих трех случаях, – о последнем, вчерашнем, и о тех двух. Когда он ушел, я поставил чайник, чистил картошку, по-прежнему думал об одном. Трижды исчезали люди, трижды это случалось в пятницу; следователь сказал, что мальчик пропал где-то между семью и восемью часами вечера, – значит, трижды это случилось в одно и то же примерно время. Дважды люди исчезали в лифте, – почему-то я сразу подумал, хотя следователь и не говорил об этом, что и этот мальчик исчез тоже в лифте. Я как-то чувствовал это, хоть и не мог объяснить, почему.

Весь день я мучительно думал об одном и том же. Под вечер снова зашел следователь и рассказал, во что был мальчик одет: черная курточка с белым воротником, синяя вязаная шапка, синие брючки и красные ботинки. Если я найду что-то из этих вещей, я должен обратиться к нему.

Я долго не мог уснуть. Я лежал в постели, глядя в темноту, прислушиваясь к звукам, все мне мешало, кровать казалась слишком жесткой, и я боялся, что вот-вот у меня опять начнет болеть голова.

Сон был мучительным и тяжелым. Я часто просыпался и снова медленно засыпал и видел одно и то же – залитую тревожащим и густым красным светом кабину лифта, и стенки его были живыми и пористыми, полными крови и мягкими под нажатием руки, они пульсировали, словно переваривали что-то, и на пол сочилась по стенкам непрозрачная, красноватая липкая жидкость, похожая на сукровицу.

Утром неожиданно приехала мать. Она открыла дверь, вошла в комнату со своим чемоданом, разбудила меня, тронув рукою за плечо.

– Просыпайся, – сказала она, – просыпайся. Я уже приехала.

Одевшись, я прошел к ней в комнату и поцеловал ее.

– Почему ты не сообщила мне о приезде?

– Я хотела послать телеграмму, но так торопилась, что в конце концов не успела. Сейчас приготовлю завтрак. А ты открой окно – здесь какой-то тяжелый воздух.

Мы решили завтракать в комнате, а не на кухне; я раздвинул стол, накрыл его белой скатертью, поставил в центр бутылку красного грузинского вина, принес тарелки. Как ни странно, после этого тяжелого сна я чувствовал себя свежим и отдохнувшим. Я был рад приезду матери, и мне хотелось сказать ей что-нибудь приятное, чтобы мое хорошее настроение передалось и ей. Я прошел в кухню и обнял ее.

– Ты мне мешаешь, – сказала она.

– Знаешь, почему я тебе мешаю? – потому что я тебя очень люблю.

– Ладно, ладно. Сейчас все будет готово. Иди в комнату.

В комнате я сел за стол, глядя через коридор на мать, которая стояла нагнувшись, у плиты.

Скоро она вошла в комнату и поставила на стол передо мной курицу на красном блюде.

– Ты скоро?

– Сейчас, только вымою руки, – сказала она и пошла в ванную.

Почти сразу она вышла оттуда. Сейчас она была не одна, рядом с нею шел кто-то еще, – я не смотрел на нее, когда она выходила из ванной. Потом я поднял голову и поглядел на мать: рядом с нею стояла кукла, большая голая кукла со сломанной головой, и с места надлома спускались по ее груди неровные красноватые полосы.

– Что это? – прошептала мать.

Кукла подняла левую руку и мать, не глядя, взяла ее.

В глазах матери я видел испуг, почти ужас; да-да, скорее ужас, скорее это можно назвать так.

– Что это? – прошептала она снова.

Кукла, мама. Кук-ла.

– Устраивайся поудобнее.

Сильвия не шелохнулась. Она молча смотрела на мужа сверху вниз. Потом...

За стенами современного белого дома, за окружающими холмами родился и стал нарастать звук. Тысячи сирен противовоздушной обороны по всей округе сплетали свои металлические голоса в единый пронзительный крик, раздирающий барабанные перепонки.

– Видишь, – сказал Миллер. – Я был прав.

Абсолютно спокойно он ждал конца света.

Но конец света не наступил.

Сирены затихли. Возобновился привычный городской шум. Залаяла собака. Натужно взвыл берущий подъем грузовик.

Сильвия Миллер начала смеяться – громко, истерично, уставив палец на застывшего мужа.

– О, Гарри, ты несчастный дурак! Это всего лишь учения, обычные ежемесячные учения!

Миллер уронил голову на грудь и несколько раз судорожно вздохнул.

– Я... я, наверное, прочитал в газете, – ошеломленно пробормотал он. – Должно быть, отложилось в подсознании...

– Звони, – приказала жена, – звони Берни Фишеру, и мистеру Миттенхольтцеру, и Милдред Бентли. Извинись и объясни, что на тебя напало временное помешательство, что утром ты идешь к врачу, что ничего подобного ты о них не думаешь!

– Что же, – тихо проговорил Миллер. – Может быть, это и получится. Может быть, если я позвоню...

– Конечно!

– Но я не буду. – Миллер встал, посмотрел на разъяренную жену, на осколки бутылки у стены, на голубую поверхность бассейна за окном и быстро направился к выходу.

– Куда ты, Гарри?

– Кто знает? – Он сверкнул широкой счастливой улыбкой. – Может быть, на Багамы. Или во Францию, в Испанию, в Индию... Главное, Сильвия, это вовсе не конец. Для Гаррисона Клейтона Миллера это только начало!

И он сел за руль своей светло-кремовой машины со свежей вмятиной на бампере и уехал, вызывая и радостно давя на клаксон.